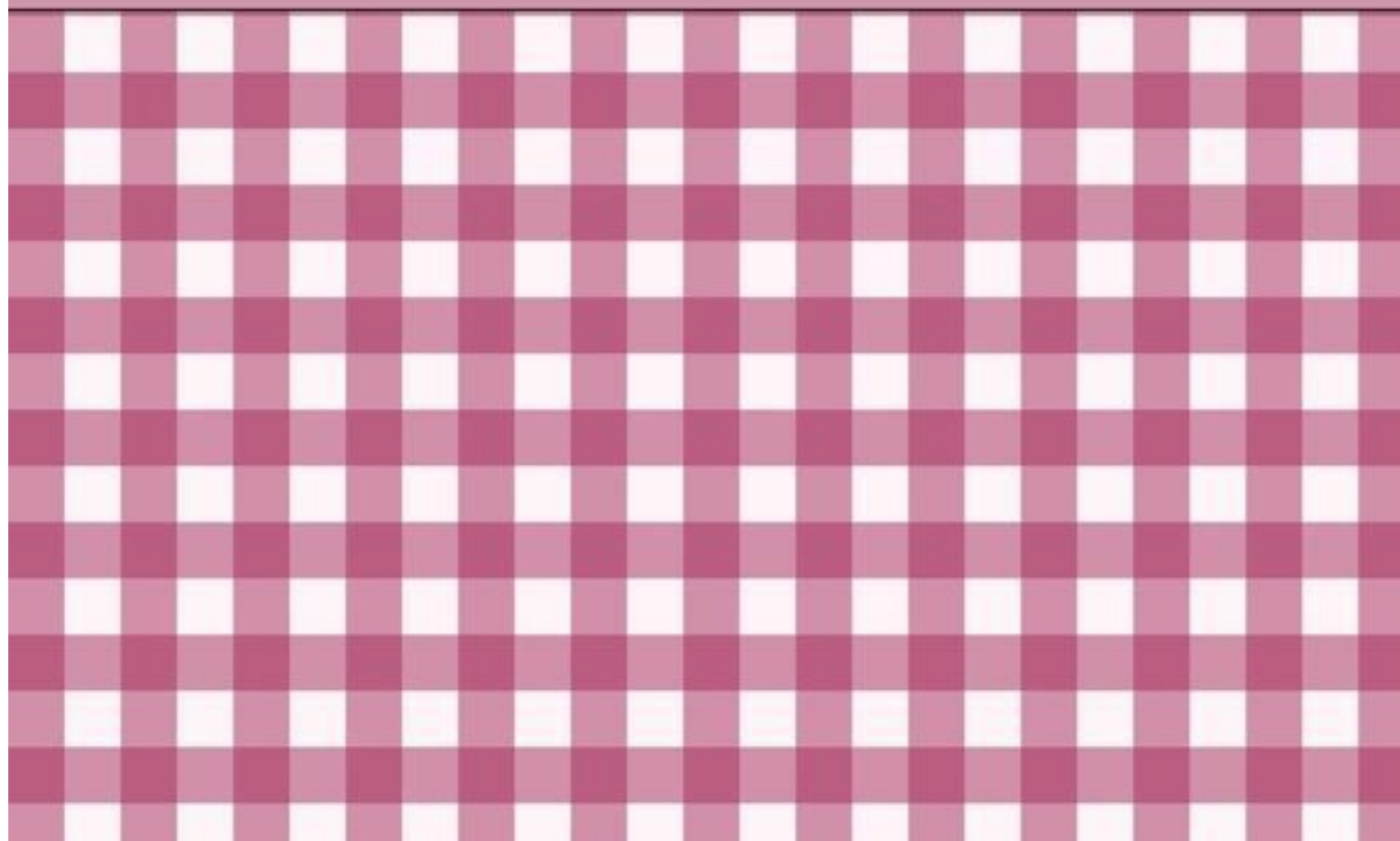


Алексей Ивин

Полина, моя любовь

сентиментальная студенческая повесть



Алексей Ивин

**Полина, моя любовь.
сентиментальная
студенческая повесть**

«Издательские решения»

Ивин А. Н.

Полина, моя любовь. сентиментальная студенческая повесть / А. Н. Ивин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-742389-6

Повесть «Полина, моя любовь» написана в 1977 году. С тех пор была многократно отвергнута в журналах и издательствах. Как и другие повести и романы автора, опубликована только в электронном виде.

ISBN 978-5-44-742389-6

© Ивин А. Н.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	13
Глава 4	15
Глава 5	16
Глава 6	19
Глава 7	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Полина, моя любовь сентиментальная студенческая повесть

Алексей Николаевич Ивин

© Алексей Николаевич Ивин, 2018

ISBN 978-5-4474-2389-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Скверная погода была в тот вечер, в последний вечер тысяча девятьсот семьдесят пятого года: когда внезапно переставал дождь, начинался обильный снегопад, так что в десяти шагах ничего не было видно, кроме крутящихся на бешеном ветру снежных столбов. Люди придерживали шапки и семенили, чтобы ветер не сбивал с ног. Новогодняя елка на городской площади раскачивалась в крестовине, как пьяная, жалобно позвякивая разноцветными фонариками, сиротливый звон которых – динь-дилинь – вызывал ощущение широкого заснеженного поля, ямщицкой тройки, завязшей в сугробе, зеленоватых волчьих глаз, глядящих из пурги на еле живого от страха седока и обезумевших лошадей. Несколько раз сверкала молния, ярко-красная, как головешка, из костра заброшенная на небо; коротко, сухо, без раскатов трещал гром. На улице, по которой я шел, внезапно погасло электричество, и она погрузилась в кромешную тьму. Сзади кто-то нервно хихикнул, и я тоже суеверно ужаснулся, словно прочитал огненные слова на вальтасаровом пиру.

Я спешил в общежитие логатовского пединститута с двумя бутылками вермута в портфеле, скользя по обледенелой мостовой. Возбуждение владело мною: предстояло увеселение, а днем я съездил на пригородной электричке в Кесну и был принят там на работу в редакцию местной газеты. Тут надо иметь в виду одно соображение: я донельзя свободолюбив, поэтому предпочитаю «сшибать деньгу», нежели изо дня в день усидчиво ее зарабатывать; вот я ее и сшибал – то на товарной станции, то в колхозе, то в логатовской молодежной газете. Обстоятельства, однако, иногда сильнее нас: устал, захотелось осесть (поближе к печатному слову). Но для печатного слова наставали худые времена: в воздухе сгушалось, меркло; что касается районного печатного слова, то над ним никогда и не рассветало. И все же я был полон сил и демократических иллюзий. Да и кто ими не полон в двадцать два года? И еще я ждал счастья или чего-нибудь такого. Вот о счастье-то в дальнейшем и пойдет речь, о счастье непосредственного, наивного молодого человека, которого старшие то и дело упрекали в инфантилизме и безответственности. Знакомые обвинения, не правда ли? Знакомые и преследующие молодежь еще со времен Хаммурапи.

Общежитские коридоры гудели предновогодней суетой; сновали девушки в вычурных платьях, встрепанные, хлопотливые, и, желая им нравиться, стояли у стен и курили юноши, повитые серпантином и обсыпанные конфетти. Черноухов в джинсовом костюме цвета морской волны, проглатывая окончания слов, лопотал на своем непонятном наречии, шевеля усатой губой; через минуту он унесется разыскивать Байрамова, он уже дрожит, как чистопородный скакун от прикосновения жокейской ладони, но пока он должен рассказать о чем-то очень важном, и он рассказывает об этом взхлеб, громко, азартно, смачно. Берестов лежит на кровати, но не спит; он и не одет еще. Ах, этот красивый рослый Берестов! Всегда-то он противоречит всем: вот и сейчас еще не одет назло другим, и вид у него скучающий, а ведь до Нового года каких-нибудь три часа. Он смотрит на нас, как державный орел, сытый и гордый, на трупик кролика. Меня-то он уважает и иногда в откровенных беседах говорит, мол, и слава богу, что меня выгнали из института: перспектив здесь никаких, и даже он, незаурядный человек, не знает, к чему себя приложить. Ну да, этот цветастый ликующий галстук он с удовольствием одолжит мне. Отчего бы и нет: я ведь не чета всем этим Дерягиным и Непогодьевым. Ну, что из себя представляет тот же Дерягин? Ни рыба ни мясо, юркий шкет с двумя котлетками бакенбард на стереотипной физиономии. Другое дело он, Берестов. Ему скучно, и это потому, что нет достойных людей вокруг него. Меня-то он уважает, чуть ли не льстит серьезными, умными голосовыми модуляциями. А каким образом

принимают на работу в редакцию? Ну да, ну да. Он еще подумает, но наверно также изберет корреспондентскую стезю.

Вошел Александр Грачев и устремился к зеркалу. На лице русоволосого викинга печать заботы. Студентка третьего курса филологического факультета, обворожительная Валентина Гирина – вот кто является причиной того, что он озабочен и, вбегая, сразу устремляется к зеркалу. Нелегко сохранить власть над красавицей, если сам ты некрасив; лучше отойти от зеркала, потому что этот зануда Берестов уже готовит ядовитую реплику про женственных мужчин. Все не то, не то, не то! А впрочем, не стоит унывать – лучше пойти посмотреть, как в шестьдесят восьмой комнате идет подготовка к пиршеству.

Грачев хорошо рисовал и лепил. Комната, где он жил, была захламлена листами картона, заляпанными в красках кистями, бесформенными кусками пластилина и глины; стены и потолок были расписаны, довольно аляповато, сценами Судного дня. Чудища и монстры, выжженные из дерева, стояли и висели по углам. Товарищи по комнате то и дело жаловались коменданту, что Грачев создает им невыносимые условия. «Богема! – сердились они. – Зачем ты поступил в педагогический?» – «Я и сам знаю, – отвечал он, – что попал не по адресу».

Он давно ухаживал за Гириной, но лишь недавно, после того как подарил ей тетрадку со своей любовной монологической исповедью и она прочла, она ответила взаимностью. Но его счастье было непрочно: танцевать, показываться с Гириной на людях было для него величайшим испытанием, и каждый новый мужчина, приближавшийся на расстояние пушечного выстрела к его пассивности, вызывал в нем прилив неистовой ревности, которую он едва сдерживал благоразумием; он успокаивался лишь тогда, когда укрывался с Гириной в темной комнате, заперев ее изнутри. Он стал рассеян, и когда я с ним встретился, пожал руку так безучастно, точно я был рукопожательный компьютер. Говорить, что он спал с лица и позеленел, не приходится. Но я радовался за него всей душой, любовался им до того, что хотелось обнять его, расцеловать, наговорить любезностей.

Грачев обещал познакомить меня с девушками из шестьдесят восьмой комнаты. «Они – девушки свободные, воздыхателей у них нет, так что ты можешь выбирать, какая понравится», – сказал он. Я был соблазнен этой перспективой, возбужден и вертелся перед зеркалом, примеряя галстук.

Поскольку у одной из девушек был, кроме того, день рождения, мы приготовили подарки. Грачев долго, кусая губы, придумывал, что бы подарить, – не всучить ли имениннице прикладную лингвистику или словарь Ожегова? – но наконец решил, что художественная книга более подходит к случаю, взял со своей полки одну, титульный лист которой был закапан жиром, словно на него ставили сковородку с жареным фазаном, с досадой посмотрел на пятно, плюнул, растер, попытался соскрести ногтем тавро кулинарного искусства, но не сумел и под хохот Берестова, человека положительного, который всегда потешался над глупцами, завернул книгу в газету и успокоился, считая, что подношение стоит идола. Мой подарок был перевязан ленточкой цвета бордо, которую я выстриг из старого платья. Уверенно и смело, неся свои дары (*timeo Danaos et dona ferentes*), мы вступили в женскую обитель.

Мы увидели елочку в блестках, большие бумажные снежинки на окне и на стенах, под потолком – ватные тампоны на нитках, белые покрывала на кроватях, стол яств и четырех девушек. Грачев представил меня.

– Марина, – ответила юная грация слева, трепетно вскинув стрелки бровей на середину лба. Вся она была правильная – от изящных женственных рук с тонкими коготками, от легкого, мягко очерченного подбородка, овально округлявшегося к безупречным линиям гладкой шеи, до красивых холодноватых глаз, безукоризненно симметрично отстоявших от небольшого носика академической лепки.

– Ира, – ответила, смешавшись, миловидная толстушка, и по ее взгляду я понял, что она хотела произвести впечатление на меня, но что мое появление все же застало ее врасплох. Потом, когда я танцевал с ней, пригласив единственно потому, что она ближе стояла и (это трудно передать словами, но постигается интуитивно) острее, навязчивее «претендовала», то ощутил (прибегну к натурализации) желание тотчас задремать на этих мягких барханах плеч, рук, большой крестьянской груди и прочих округлостях: укачало, как в паланкине на пуховиках. Ира, как я понял, переговорив с ней, оказалась доброй и милой русской девушкой, из каких получают преданные и не всегда счастливые жены.

– Полина, – ответила, бросив кокетливый, быстрый, смеющийся взгляд, высокая девушка с румянцем на тугих улыбчивых щеках. Она посмотрела на меня почти с той же заинтересованной экспансивностью, что и Ира, но открыто, гостеприимно, задорно, как садовник, рассыпающий фрукты на полотняную подстилку.

– Спасибо, спасибо! – сказала она, принимая наши подарки и не переставая улыбаться.

Валентина Гирина была мне знакома; она благопристойно, сдержанно и участливо улыбнулась, давая понять, что все хорошо, и спрашивая глазами, теплыми, какими-то почти материнскими глазами, в которые приятно смотреть, как на тлеющие угли, в самом ли деле все хорошо и нравится ли мне компания; я улыбнулся утвердительно. Когда она заговорила, тихо, на грани слышимости, как лепечет затравеневший ручеек, я уловил мягкое рокошующее «р» и увулярное «л» (я изучал лингвистику!), прелестные, как если бы из-под корневищ статной березы фонтанировал студеный ключ, а я, путник, издалека услышав бульканье, спешил утолить жажду и прилечь на траве. Валентина тотчас очаровала меня; когда мне чудилось, что ее сдержанность ослабевает до дружественной интимности, и я обращался с нею ласковее, чем позволялось приличием, то наткнулся на свирепый взгляд Грачева, помутневший от ревности, и напускал на себя суровость, чтобы не провоцировать безудержную ярость ревнивого собственника.

Когда все сели вокруг стола, я стал беззастенчиво разглядывать девушек, несколько сковав их. Марина казалась холодна, нарочито безразлична и изысканна; я любовался ее артистизмом и красивым лицом, она же почти не смотрела на меня, видимо разочаровавшись. Ира, немного поломавшись, прочитала стихи в честь именинницы: стихи были искренние (кто не сочиняет втихаря на филологическом факультете пединститута), но неуклюжие, резали ухо – вирши времен Феофана Прокоповича. Тем не менее, я взял дарственный альбом и прочитал их еще раз про себя; эстетическое удовольствие было невелико, но Ира уже знала (Грачев разболтал), что изящной словесностью я не брезгую тоже; кроме того, мне хотелось ее поощрить: как-никак, это был пункт, на котором сошлись наши интересы.

Меньше других меня заинтриговывала Полина; она сидела напротив и улыбалась, потуплялась, кокетничала, однако при всем том все, что она ни делала, получалось естественно и просто, без жеманства и видимой рисовки, ее простота и доверчивость успокаивали.

вали; она не оценивала, не примерялась ко мне, я будь мы одни, я бы, кажется, крепко пожал ей руку, как старому верному другу.

Студенческая вечеринка с вином, с шутками, без стеснения, запросто – такова завязка, интерьер. Я подавал довольно удачные реплики, налегал на закуску, не переставая все замечать. Речь шла о выборе, по совету Грачева, о смотрах. Я еще не знал, кого выбрать, и пилился на Иру, считая, что красота остальных не позволяет мне надеяться на успех (на сиюминутный, без дальних прицелов, потому что – вечеринка, танцульки). Общий поверхностный разговор порхал над столом, как мотылек, часто садясь на цветы пауз (эта безвкусица заимствована из галантной поэзии, кажется, из Дю Белле).

Еще не было полночь. Как-то получилось, что я сказал две-три незначительные фразы Полине, ответы были просты, доверчивы. И я выбрал. Крутилась лирическая пластинка, Полина была хороша, как – если опять позволительна безвкусица – роза в хрустальной вазе. Мое не совсем еще определенное настроение было чутко уловлено, и когда все решили спуститься вниз, в танцзал, мы уже знали, что пойдем вместе. Можно было спуститься прямо по лестнице, но мы прошли длинным коридором, и этот путь сблизил нас. Внизу было многолюдно, пестро, распоясанные ребята невразумительно орали с эстрады, и оглушительно гремела музыка. Мы встретились с Валентиной и Грачевым, и их лукавые взгляды мне совсем не понравились. В тот вечер я был похож на беспризорного пса, которому досталась славная кость и не терпится с нею укрыться и основательно обглодать (сравнение очень уродливое, но близко к истине). Поэтому я очень скоро вышел из круга и Полину вывел. Мы отправились на розыски моих знакомых; в институте я проучился почти два курса, знакомых было полно, но, право, сейчас мне не было до них никакого дела: повод, чтобы удрать от Грачева, уединиться. Знакомых мы не обнаружили, зато последующее танго танцевали уже в другом конце зала. Я робел, волновался, что называется, боялся дышать, нес напыщенную чепуху с претензией на остроумие, от чудного запаха ее мягких, крупно завитых волос меня познабливало. На ней было нарядное платье, почти цыганское по пестроты и яркости, с щедро нарисованными букетами неземных цветов, схваченное в талии поясом, и пояс этот под моей рукой легонько подвигался. Ее глаза, серо-зеленые, прикрытые ресницами, смотрели мимо меня, через плечо, в зал и мерцали, я нашептывал в ее аккуратное ушко, голое, без серег, счастливые пошлости, которых она, конечно же, не слышала, потому что очень уж на высокой ноте завывала электрогитара. Я говорил, говорил, заговаривался, прижимался теснее, пьянел, пока в голову не закралась посторонняя, но очень мне – с моими фобиями – свойственная мысль, а именно: не застряла ли в усах, не приведи Господь, крошка от гостеприимного девичьего ужина? Я, конечно, разгладил усы, однако уже так опьянел и почти задышался, что следовало немного остыть.

– У меня промеж лопаток не торчит стрела? – спросил я, чтобы хоть иронией защититься от дурманящего воздействия, но Полина лишь слабо улыбнулась, и я оставил ее, договорившись, что мы встретимся минут через десять за праздничным столом. Я капитально в своей привлекательности засомневался, тем более что ответом на мои комплименты была лишь слабая, чуть блаженная и томная улыбка на полных, длинных губах, делавших Полину похожей на Мирей Матье. В то время я был юноша гетерогенный и часто прибегал к помощи зеркала: ведь в случае, если бы я понравился себе в зеркале, я был бы уверен, что нравлюсь и ей. Такой расчет. Итак, недотанцевав, я покинул Полину, чтобы проверить сомнение насчет крошки, обдумать положение, собраться с волей, и вернулся не прежде, чем убедился, причесавшись и заново повязав галстук, что внешний вид мой удовлетворителен и что девушка,

томящаяся накануне праздника из-за нехватки субъекта, на которого излилась бы ее праздничная влюбленность, клюнет и на такого обормота, как я.

Длинный, до пояса выкрашенный зеленой краской коридор был усеян разноцветными конфетти, на кухне, погасив свет, сидел длинновязый рыжебородый Славик Нестеренко и, посадив на колени взлохмаченную безобразную, как смертный грех, Веронику Езерскую, целовался с ней всасос, Грачева в комнате не было, на кровати поверх зеленого в белую полоску одеяла валялся и, кажется, спал Берестов, и я ощущал радостный подъем молодых сил, которым нет никакого удержу.

Наступила полночь, пробка полетела в потолок под оживленные возгласы милых, раз-
румянившихся студенток, ажурная пена, шипя, полезла из толстого горла бутылки, я насла-
ждался, и пил, и предвкушал, и твердо верил, что новый год будет счастливым.

Глава 2

Гладильная комната была холодная, голая, с несколькими столами, обитыми байкой. В ней я и затворился с Полиной, забаррикадировав дверь. Это было уже лишнее: я тем самым обнаружил свои намерения. Мы не упали друг другу в объятия, напротив – тихими стопами прокралось отчуждение; мы были знакомы лишь несколько часов. Но так как оба мы к тому стремились, разгоряченные вином, то, подходя к выключателю, чтобы щелкнуть кнопкой, я предполагал, что это не вызовет возражений. Темнота устраняла стыдливость. Полина молчала, я стоял рядом и говорил, но, выболтавшись и достаточно предварив последующий акт, обнял ее за плечи. Это тело было создано для меня: когда я начал расти и вырос худой и высокий, как каланча, я мечтал о девушке-змее с длинным пропорциональным телом, осинной талией и маленькой грудью; она будет доставать до плеча, и мне не придется горбиться, чтобы поцеловать ее; и если я понесу ее в объятиях, она забьется, как большая щука, только что вытасненная за жабры из бредня.

– Начинаются физиологические опыты... – сказала Полина так, словно все последующие события до десятого колена были ей известны наперед. Ей, как и мне, хотелось согладить, притушить, сдержать неожиданную скорость, с которой развивался наш роман; ее отпугивала моя поспешность, но она понимала в то же время, что нельзя резко отвергать мои ухаживания, охлаждать мою горячность, потому что я и без того полчаса подготавливал это объятие, точно строитель картонного домика, надеясь только на штиль. Ее губы были близко, были близко ее глаза, пристально выслеживающие меня, но я не впервые шел по этой дороге. Мы грустно подтрунивали над тем, что наша встреча была predetermined создателем от начала мира.

– Все идет по плану, – с насмешливой обреченностью заметила Полина; так сказал бы Вечный Жид, разменяв очередное тысячелетие. Полина еще не хотела верить, что встретилась со своей судьбой; она даже убрала мою покоившуюся руку, но тут же произнесла унылую фразу, промокшую внутренними слезами, и рука-утешительница водворилась обратно. – Хоть бы умереть, Боже мой! Ничего у нас не получится, Андрюша...

Я заверил, что получится; я во всяком случае хотел надеяться на это, хотя и меня не покидало чувство, что лучше бы вовсе не встречаться с ней. Наш поцелуй сладко и непривычно долго длился, а я не был ни ловцом жемчугов, ни аквалангистом, чтобы обойтись без воздуха. И вот я стал задыхаться, потому что слизистая оболочка моего носа была воспалена. Длинные и сочные, как апельсиновые дольки, девичьи губы, их запах, их вкус вызывали в ощущениях прогретый на летнем солнце сухой пригорок, усыпанный зрелой земляникой, и я на животе переползал от ягоды к ягоде, но, ленясь поднять руки, срывал их губами, раздавливал языком, вкусовые сосочки которого впитывали розовое влажное земляничное благоухание, и обильно набегавшая слюна смывала пенную накипь, устремляясь во чрево. Мои и ее глаза закрылись, и я понял, что мы еще не разочарованы в этой простой ласке, что она нас пьянит и что мы малоопытны и любим друг друга. Наконец уста расстались, и в счастье мы прижались висками, переплетая волосы.

Я возбуждался быстрее, чем Полина, но лучше владел собой. Полина прерывисто дышала, ее знобило, и чувственная муть заволакивала глаза. Она пожаловалась на холод; я набросил ей на плечи пиджак. Мы целовались почти непрерывно, потому что ощущали какую-то пустоту, едва размыкались губы; не хотелось верить, что наша любовь обречена

на неудачу. Я целовал ее лоб, щеки, губы, шею, я долго баловал кончик ее носа, потому что он был совсем холодный, я целовал куда попало, но больше нежно, чем настойчиво. Такой уж я человек, во мне нет властности, я только привыкаю к новым положениям, но не создаю их. Я боялся скорой развязки, хотя и прикидывался, что добиваюсь ее.

Я ослабил чувственный натиск; мне было достаточно того, что уже произошло; я не терял головы, оставляя пути к отступлению. К сожалению, я был не холоден и не горяч, а только чуть теплый. Тридцать шесть с половиной градусов. Полина чувствовала это и освободилась из объятий; я позволил ей это с радостью, с облегчением при мысли, что не придется глупить, что, правда, мудрому достаточно, что, слава Богу, я не совершу ничего предосудительного. Главное – вовремя одуматься. А то ведь за краткие минуты сомнительного блаженства придется платить болью, самоосуждением, раскаянием.

Вот так мы и встретились: она действовала, а я выжидал.

– Открой! – сказала она.

Я повиновался, но уже с сожалением: вовсе не хотелось, чтобы она уходила, не приняв моих извинений, – двух-трех прочувствованных, подкупающе нежных поцелуев, умасляющих горечь.

Дверь была отворена, и Полина вышла, почти выбежала, будто ее вытолкнули; я обратился в нитку, послушно следующую за иголкой.

Наш соучастник, длинный путь по спящему коридору, вновь восстановил близость; мы простились, я обещал прийти вечером.

В шестом часу утра, едва коснувшись постели, я заснул, как убитый.

Глава 3

Может быть, и не напрасно так ругают сейчас общественный застой и тоталитарную систему, но мне те времена и до сих пор кажутся прекрасными: что пройдет, то будет мило. Я человек хоть и трусоватый, как бы пришибленный с детства, но не исключено, что – начнись демократизация тогда, в семьдесят пятом году, – я выдвинул бы свою кандидатуру в логатовский горсовет: претензий и в те годы мне было не занимать (то есть в те-то годы как раз и были претензии). Но поскольку все пошло как пошло, я тихо-мирно, как и весь советский народ, ушел в личную жизнь. И открыл в ней столько утех и прелестей, что – вопреки раздражению людей практичных и умудренных – хочется повествовать о них откровенно и цветисто, как маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад. (Любопытно, за что этого мерзавца и душегуба, проводшего тридцать лет в тюрьмах и заклеянного нашим литературоведением, издают и переиздают французы? Но это, как говорится, а propos...)

Итак, в восемь часов утра, свежий и бодрый, как купидон, я уже был на ногах. И испытывал сильный душевный подъем.

После вечерней грозы ночью сильно похолодало, тополя за окном разузорились курчавой изморозью, за ними простиралось до горизонта снежное поле, пересеченное ниткой телеграфных столбов, и виднелась деревушка – куча серых изб, поздний стелющийся дымок над одной из крыш, купы деревьев и такое заунывное безлюдье, что казалось: ты не на окраине областного города, а в калмыцкой степи. Грачев спал, укрывшись с головой, Берестов тоже спал, все так же: поверх одеяла, не раздеваясь. Я испытал минутное чувство превосходства и одновременно жалости к этому красивому, вечно скептическому парню, которому не с кем было провести новогоднюю ночь.

– Валера, – позвал я.

Он открыл один глаз и посмотрел не совсем осмысленно.

– Валера, я хочу спросить у тебя одну вещь: у тебя, говорят, с Полинькой Илатовской из шестьдесят восьмой был лямур...

– Секушин, дай поспать, ну тебя на хрен, – проворчал Берестов и отвернулся к стене.

– Нет, Валера, ты мне ответь, как она тебе? На втором курсе, я же знаю...

На моих губах еще горели поцелуи, так что я хотел определенно знать, с кем Полина так напрактиковалась целоваться.

– Ну, что тебе сказать? – неохотно и риторически отозвался Берестов. – Глупая она, во-первых. И во-вторых, и в-десятых, и прежде всего. У нее тетка на физмате преподает, она ее и устроила. В Новгородской губернии есть такой городишко – Берендеевск, оттуда она. Как будто местных дур здесь недостаток.

– Слишком уж ты взыскателен к людям, – пробормотал я, потому что спокойный и совершенно убежденный отзыв Берестова смутил меня тем, что решительно не вязался с моими восторженными представлениями о Полине.

Все желания сводились к одному – повидать Полину. Пятнадцать раз я принимался будить Грачева, чтобы пойти с ним позавтракать остатками пира, но он спал непробудно. Наконец к вечеру проснулся. И мы пошли.

Ужин протекал непринужденно (Грачев уже давно был своим человеком в 68 комнате, да и я освоился), лишь Валентина посматривала насмешливо: оказывается, Полина все ей разболтала. Девушки вскоре ушли, исчез и Грачев с Валентиной, мы остались одни. Я запер комнату: не терпелось (двадцать два года, самое, как говорится, то). Но был наказан за самонадеянность и полчаса потратил, чтобы растопить ледяную корку, образовавшуюся, пока мы не виделись. Рудокон с таким остервенением не добирается до угольного пласта, погребенного под обвалом, с каким я добирался до губ. Но вот они, желанные! Пальцем потушив стеариновую свечку, я целуюсь охотно, потому что люблю.

Нет слов, чтобы передать ощущения, все слова бессильны, нежизненны, литература представляется мне дрянным суррогатом действительности; одни женские губы, если их целовать взасос, а потом дать языку проскользнуть внутрь, а потом бороться языками, а потом целовать справа налево, а потом слева направо, а потом комкать одну верхнюю губу, а потом присосаться к уголку рта, а потом ласковым касаньем осушить влагу, а потом смочить и углубиться во влажное тепло, а потом крепко впиться, так, чтобы встретились ее тридцать два и мои шестнадцать зубов, – одни женские губы (если в новинку) затмевают, по моему разумению, всякую словотворческую поэзию. И можно ли передать прозой, даже и а-ля маркиз де Сад, все те прозаические плотские вожделения, которые владеют тобой при этом? А если в эту минуту раздастся стук в дверь, чего стоят драмы?

Полина отшатнулась. Стук повторился сильнее и настойчивей. Когда мы открыли, кой-как приведя себя в порядок, вошла очень тонкая, красивая девушка: ей что-то понадобилось взять (общага, ничего не поделаешь, все друг у друга что-нибудь занимают). Она вскоре ушла, насмешливо покосившись на нас. И между нами вновь образовалась трещина. Я не имел сил начинать все сначала и поэтому простился. Вообще довольно гадостно (извините за вульгаризм), когда негде уединиться, чтобы не спеша и со всевозможным вкусом отдаться друг другу; но, видно, так уж мы скученно живем. По совести говоря, я был даже доволен, что нам помешали, наш пыл охладили и нас на время разъединили те некие высшие, как мне казалось с моими врожденными телеологическими установками, контрольные силы, которые следят, чтобы злой умысел не простирался, и добрые намерения торжествовали. Потому что ну что же я мог в то время предложить Полине в ответ на ее любовь, – что, кроме честолобивых надежд?

Глава 4

Итак, я снова влюблен. Да здравствует любовь! Сверху донизу все во мне перевернулось, в щепы разлетелись все жизненные теории, сердце трепещет в груди, на губах я ношу ее поцелуи; минута без нее, один час, один день так мучительны! Самолюбивая гордость, только она препятствовала мне в тот же день опять пойти к Полине. И все же желание пересилило, я пошел, и как хорошо, что дверь ее комнаты оказалась заперта. Я спохватился и понял, что излишне горячусь: я выдал бы свою любовь, если бы пришел после того, как мы уже простились; к тому же, я не был уверен, что меня любят.

Наутро через записку и сводные услуги Грачева я назначил Полине свидание; я был уверен, что она придет, ибо кто же обрывает связь в самом начале, не дойдя до решительного противоречия или охлаждения?

День прошел в суетне, в сутолоке, но я помнил о встрече и ждал ее. Было семь часов вечера, а мне оставалось пройти прямой аллеей еще целых два квартала, чтобы выйти к *Вечному огню*, где было назначено свидание; я опаздывал. В группе людей, стоявших возле мраморной плиты и смотревших в огонь, я не сразу увидел Полину, а когда она обернулась, поразился ее красоте. Я извинился за опоздание, пряча свой побагровевший от мороза нос в шерстистый шарф. Пальцы наших рук сплелись, и по широким ступеням мы вышли на площадь. Вслед донеслись звуки печального реквиема – погребального плача по убитым на войне. Убитые, что вы делили? Усопшие, почему вы стреляли друг в друга?

Тыльная сторона моей ладони прижималась к ее бедру, тыльная сторона ее ладони прижималась к моему бедру, – так тесно мы шли. Уничженный ее красотой, благодарный ей за то, что она пришла, я был в экстатическом состоянии солнцепоклонника. Мы прошли по вечерним улицам к Софийскому собору, а оттуда вдоль крепостной стены с бойницами, прикрытой голыми шеренгами берез, углубились в парк, где летом цвел зеленый заглухший пруд, а теперь было бело и пустынно, чем я и воспользовался, чтобы поцеловать Полину, но она, упершись кулачками в мою грудь и улыбаясь длинными сочными губами, которых я, как ни ухитрялся, при поцелуе не мог собрать воедино, – Полина отказалась удовлетворить мою прихоть, и я, притворно попеняв, не настаивал. Мы говорили друг с другом о своем прошлом, – ведь за те два дня, что мы были знакомы, мы не успели сделать это. По набережной Логатовки мы прошли до моста под укоризненными взорами старух, возвращавшихся с богомолья, и направились к общежитию. На рельсах узкоколейки мы поцеловались дважды, трижды, не обращая внимания на мальчишек, игравших в войну возле автогаражей, и ее белая шапочка, сбившись на затылок, падала в снег; губы и щеки на морозе были холодны, кисло-сладки, как ягоды рябины после первых заморозков.

Я пытался проникнуть в общежитие, но был задержан вахтершей. Полина снабдила меня деньгами на поездку в Кесну. Наша встреча через неделю стала неотвратима.

Глава 5

Любовь требует противоречий. Таким противоречием для нас была невозможность видеться ежедневно. Дозированное счастье субботы я впитывал, как сухая губка влагу, и до новой встречи ссыхался и скрючивался, точно перекасти-поле. Тем неукоснительнее я следовал девизу: *carpe diem!*

Я влюблялся и прежде, но переживал поражения и понимал, что в любви ум так же уместен, как и чувство, что самообладание в любви котируется высоко для всякого, кто не хочет прослыть посмешищем, не хочет, чтобы его чувство осталось безответным.

Не было сомнения в том, что на этот раз все будет иначе. Я боялся лишь одного – что Полина бросит меня, как только поймет, какой я ничтожный человек по сравнению с нею, как только получит доступ к моему внутреннему миру, в котором хаотически переплелись отчаяние и гордыня, тщеславие и душевная подавленность, низменные пороки и высокие мечты. Я просто благоговел перед нею, потому что она была совершенна, – сосуд, выточенный искуснейшим гончаром, творение, на котором запечатлелась благодать Божья.

Десятого января Полина, сдав экзамен по политэкономии на удовлетворительно, предстала передо мной в мягкой мохеровой блузке с запутанно сложным урбанистическим рисунком; кисточки кушака красиво покоились на левом бедре. Кольца завитых темно-каштановых волос обрамляли чистый лоб и вечно рдеющие щеки, спускаясь по лебединой шее. Истолковать улыбку ее глаз и губ смог бы разве опытный физиономист: счастье не счастье, любованье собой, приветливость или предвкушение – бог знает...

Мы с трудом уединились. Та красивая девушка, что когда-то помешала нам, теперь предоставила свою комнату в наше распоряжение, бросив ключи на стол и с колкой дружелюбностью пожелав счастливо повеселиться. Взгляд, которым они обменялись, я перехватил, и мне показалось, что между ними определенный сговор; позже выяснилось, что так оно и было: Полина поклялась перед девушками из шестидесят восьмой комнаты, что приручит меня. Я на миг почувствовал себя подопытной морской свинкой, но это длилось один миг, ибо в следующий я уже припал к голой шее губами и шептал:

– Здравствуй, Клубника-со-сливками!..

Такое прозвище я дал ей в первый же вечер.

Несколько мелких родинок спускались от мочки уха к ключице; я обнаружил их с восторгом золотоискателя, наткнувшегося на жилу.

Мой лексикон таит немало нежных слов; все они были произнесены. Было детское наслаждение для нас даже в том, чтобы мерить ладошки, ее и мою, даже в том, чтобы смотреть в глаза друг другу, даже в том, чтобы свивать шеи, как лошади вечером, когда гаснет заря и на луг выпадает роса.

Я еще не говорил ей о своей любви, потому что ничто меня не понуждало к этому. Я о чем-то пустячно спросил, и вовсе не обязательно было отвечать, и вдруг услышал:

– Да все дело-то в том, Андрюша, что люблю я тебя...

На мои чувства, на мои руки будто упала чугунная плита; я ощутил неловкость робкого ученика, которого похвалили перед классом. Вескость этих слов, серьезный грустный искренний взгляд в упор смутили меня. Нет слов, я был польщен, вознесен этим признанием, но и угнетен им: дело принимало оборот посерьезнее, чем простая интрижка. Скованным одной цепью, нам теперь не было возврата, и я ощутил себя в западне, как пьяница, замурованный в темнице с годовым запасом бургундского: вот выпью я это вино, а дальше-то что?

– Ну вот и хорошо, вот и чудесно... – только и сказал я, отводя взгляд: я не был готов к подобному признанию.

Полина заметила мою растерянность, подумала, что ей отказано во взаимности, и начала горько-шутливо-трогательно говорить о неразделенной любви. Уверяя ее, что она ошибается, я и сам признался: скованные одной цепью, споткнувшись, падают разом. Мы поцеловались, и душе-ангелу стало легко в заоблачных эмпиреях любви. Еще лобзанье. Еще. Еще.

Мы сидим на полированном раздвижном столике. На пол посыпались с него книги, тетради. Мы разражаемся счастливым, глуповатым смехом, но, вспомнив, что в соседней комнате нас могут услышать, начинаем шикать друг на друга, затихаем, как мышки, когда они, просунувшись из норы, перед которой лежит хлебная корка, озираются, нет ли близко кота, готовые юркнуть обратно при малейшем шорохе. Теперь мы очень близки, так близки, что не верится, возможна ли такая близость между людьми.

Мои желания не встречают сопротивления. Она обвивает руками мою шею, и я несу ее, покорную, и тихо опускаю. Прочь изящный кушак! Брошь на груди – красивая вещичка, но жаль, я не знаю, как она отмыкается, – магический сезам с ключом, заброшенным в море. Полина тихо смеется над моими попытками (трепещи, грешница, ты накануне падения!); ловкими движениями она застегивает те пуговицы, по которым уже прошла моя рука. Ты думаешь, я горячо добиваюсь твоего тела? Отнюдь нет. Мне так приятно балансировать на этой грани; я знаю, что придется когда-нибудь переступить ее, но не сегодня, нет! – я слишком тебя люблю и понимаю, что чувственное утление не приносит счастья. Ну и лицо у тебя! Ну и взгляд! Куда девался румянец? Мне страшно за тебя, и я говорю тебе: не смотри на меня таким любящим взглядом: ведь может статься, я не достоин твоей любви. Мне жаль тебя, жаль себя, потому что я проклят способностью подмечать и тут же расчленять свои и твои порывы; и второй человек во мне судит меня, первого, и нет во мне цельности, благотворной в любви. Пойми одно, милая: суждены мне благие порывы, но свершить ничего не дано. Ты пришла на ипподром, чтобы поставить на изнеможенную клячку; ты проигрываешь. Нет оснований верить мне, и я не хочу обязывать других людей верить мне – это было бы подло. Наша плоть – худая опора.

Но я люблю тебя, как умею, как могу. Хромает логика, как видишь, но это логика твоих губ, твоего совершенного тела, твоих глаз, твоего неисчислимого обаяния. Ты что-то говоришь, ты слабо протестуешь и льнешь все крепче, гибкая лоза к сухой подпорке, и твои стремительные горячие поцелуи, как прижигания, горят на моем лице.

Я не в силах разжать объятия, чтобы в наши согретые души не проник холод. Мне надо оттянуть развязку, но как бы я хотел ее приблизить! Как идеально я тебя люблю, и какой

грязью все это может кончиться! Боже мой! Это будет конец любви, ее затухание – и пошлость, пошлость...

Мы встаем и обнимаемся так крепко, словно хотим слиться в одно тело. До свиданья, Клубника-со-сливками! Прости меня. Прости циркача, эквилибриста, экспериментатора. Поцелуй его, бедная страдальца, родственная человеческая душа, которая когда-нибудь отлетит от тела, достигая высей горних. Прости, люби, надейся...

Глава 6

О, если бы вечно продлился этот райский сон! От встречи к встрече я любил все сильнее, нетерпеливее. Я хотел идеального, гармоничного чувства, и мне казалось иногда, что я достиг его, осыпая лицо Полины нежнейшими, как фиалковые лепестки, поцелуями, на которые она отвечала порывисто, страстно, с таким напором неизрасходованных чувств, что я слегка пугался, – мне казалось, что это апофеоз высокой любви между мужчиной и женщиной, что мы новые Ромео и Джульетта. Но раздавался посторонний смех в коридоре или хотелось курить – и идеал рассыпался. Я чувствовал, что хочу невозможного, что наша любовь, как, может быть, и всякая любовь, – взаимно иллюзорна: я считаю, что Полина – само совершенство, я ищу в ней противовес для своей чересчур беспокойной души, а она думает, что я на что-то способен, что я дока по части опыта и пробью себе дорогу. Черта с два! Я знаю, что я ни на что не способен, тем паче не смогу в случае женитьбы устроить наши материальные дела; для этого я слишком лентяй, и мне, по правде говоря, плевать, похоронят ли меня в осиновом гробу или у кремлевской стены.

Чувствую, что стал филистером, рептилией, что максимализм юности преобразился в пакостную трусость конформиста, который у себя на голове позволит свить воронье гнездо; я сглаживаю все противоречия, я убегаю от них, уклоняюсь, увиливаю вьюном. Гадко, гадко. Эта любовь обнажила весь мой неуклюжий макиавеллизм, к которому я стал прибегать после черного семьдесят пятого года. Полина – открытая, добрая, честная, простая душа, она говорит и действует прямо, а я весь в различных душевных похотях, в зазеркальной кривизне. Однажды я признался в этом Полине; хорошо, что я это сделал. Ее невозможно обмануть, с ней нельзя играть в жмурки. Но для меня накопление опыта равно очерствению души. Злодейка жизнь! Сколько миллионов людей повторили на твоём конвейере один и тот же дурацкий цикл: мечты, тоска, пересмотр ценностей, либерализм, консерватизм и, наконец, – достойный аккорд вековой сюиты! – старческая отупелость, маразм! Фанфаронством было бы изрекать, что я миную этот цикл. Куда я денусь? Оттого-то я и буду умна, что меня своевременно провялят. Умна была вяленая вобла – жаль, жестковата, годится только с пивом...

Хорошо бы жениться именно на Полине; но лучше бы и честнее – не жениться вовсе, чтобы никого не обременять, а *volens-nolens* доживать, не став ни Давидом, убивающим Голиафа, ни исцелителем общественного фурункулеза, ни убогоблаженным обывателем, а просто – сластолюбцем и путаником.

Похоже, что дело близится к развязке. Надо раскинуть мозгами, обмозговать, стоит ли судьба статной, как кипарис, красавицы с земляничным румянцем на детских щеках, – стоит ли ее судьба того, чтобы отдать ее ветрогону, чахоточному оболтусу с лицом цвета мексиканского целовального камня или, что еще лучше, цвета землицы из торфо-перегнойного горшочка? Я ведь не достоин столь щедрого подарка, это факт.

Но во-первых, *argumentum ad hominem*: мне этого очень хочется; как поется в популярной песенке Высоцкого, я сегодня очень, очень сексуально озабочен. Кажется, я сумел-таки одурманить Полину. Еще бы: мои слова так много обещают, поцелуи так трогательны, а весь облик настолько располагает, что противиться трудно.

В минувшую субботу мы не нашли прибежища. Гладильная комната снова приютила нас.

Страсть развивалась. Разум спал. Мы обнимались крепче канатных волокон; как советовал Катулл, мы лобзались тысячу раз, но, сбившись со счета, начинали сызнова. Были моменты, когда балансировочный шест в моих руках покачнулся и я готов был идти напролом, но слабое, очень слабое, беспомощное противодействие возвращало мне разум. Полина была истомлена и не владела собой. Ее нельзя было насытить; она не отвергала ни одного поцелуя; бадью за бадьей я выливал воду ласки на иссушенные грядки, но мне это было в охотку: я верил в урожай. И мало-помалу Полина потеряла контроль над своими поступками. В коридоре, на виду у всех, она обвивала мою шею руками и целовала меня, а когда я трусливо спросил, не скомпрометирую ли ее, рассмеялась; мне понравился ее ответ. И все же, в укромной глубине своей неблагоразумной души, я был смущен тем, что Полина так воспламенена. Я понимал, что с огнем шутить нельзя, но что мне делать? Я ведь из тех классических обормотов, для которых любовь – камень преткновения, которые с истинной самоотдачей предаются лишь бесплодной мозговой рефлексии, а когда приходится жертвовать самолюбием, тут-то и обнаруживается их позорное малодушие.

В четвертом часу утра мы покинули гладилку. Но дверь комнаты номер 68 оказалась заперта: там закрылись Грачев и Валентина. Я и Полина, мы испытали чувство соумышленников. «Как хорошо, что счастлив я и счастлив мой лучший друг!» – думал я. Мы хихикали, кряхтели и царапались в дверь, пока за ней не раздались шорохи и шепоты. Мы целовались перед дверью, и ожидание не было нам тягостно. Мы ребячились, как дети. Через четверть часа ключ в замочной скважине заскрежетал, мы коротко поцеловались, Полина шепнула, чтобы я приезжал в следующую субботу, ибо начнутся каникулы и общежитие опустеет. В благодарность за то, что она не едет на каникулы домой, предпочтя еще раз встретиться со мною, я крепко пожал ее маленькую руку. До свиданья, Клубника-со-сливками!

Глава 7

Здравствуй, Клубника! Если б ты знала, как медленно проползала эта неделя! А иногда, после работы, когда я бездельничал, прилиwała к сердцу такая нежность и такая тоска по тебе, что я бы плакал, если бы были слезы. Но наконец-то, наконец-то я тебя вижу! Когда я, откинувшись в кресле туристского автобуса, воображал встречу, рисовалась другая картина. И еще я боялся, что меня не пустит вахтерша. Так оно и вышло. Но Грачев подоспел вовремя: он взял меня под руку, строго посмотрел на привратницу, и та, побранившись, не посмела нас задержать. Милый добрый Грачев! Он сразу же уехал, оставив нас вдвоем. Спасибо ему, он очень тактичен и обходителен.

Какая ты сегодня красивая! И не в брюках, а в черной блестящей юбке из чертовой кожи. Это прекрасно! Теперь я вижу, что у тебя стройные ноги. Ты ведь тоже очень рада мне? Чуть только я намекнул, что голоден, ты бросаешься готовить омлет, открываешь хлебницу, нарезаешь кекс, греешь чай на электроплитке. Можно подумать, что мы сто лет как женаты, и вот я вернулся из длительной командировки, а ты хочешь угостить меня. Мне нравится, что ты так скоро привыкла ко мне и так услужлива. Омлет превосходен; правда, ты забыла его посолить. Ты смотришь, как я насыщаюсь. Боюсь, что, если я женюсь на тебе, после свадьбы ты уже не согласишься с такой любовью, как я ем, а станешь торопить, чтобы поскорей убрать посуду. Видишь, в чем разница? Впрочем, из тебя выйдет добрая, терпеливая жена. Ну, спасибо, я поел. Давай, я помогу тебе. Ну вот. Теперь мы запрем дверь и выключим одну лампочку – зачем нам две? Можно, я закурю сигарету? Я очень волнуюсь. Ты сегодня – неприступная крепость, окруженная глубоким рвом; стража со скрипом поднимает подъемный мост. Ты даже пробуешь язвить; это не идет тебе. Я езжу не для устройства каких-то там дел, а только ради тебя. Ты усомнилась в этом, и я тебе ответил.

Я выключаю вторую лампочку. Мы стоим у окна, два высоких, гибких человека, которые могут переплетаться, как ивовые прутья. Занавеси на окнах раздвинуты, и с улицы на нас падает свет далекого фонаря. Как ты прекрасна! С покорностью бабочки-капустницы, которую берут за белые крылья, ты прижимаешь всем телом ко мне, когда я беру твои губы. Свет далекого фонаря тусклой точкой мерцает в твоих зрачках. Неужели нам когда-нибудь станет скучно? Я не вынесу этого. Любимая, ты прекрасна! Как жаль, что мы умрем. Будем же наслаждаться, пока еще есть время. Не исключено, что вскоре его не будет. Я хотел бы слиться с тобой, чтобы между нами всегда были добрые ласковые отношения, теплые, как кровь в одном здоровом теле. Хочешь, я буду носить тебя по комнате? Ты брыкаешься, смеешься, тянешься ко мне с поцелуем и, поймав мои губы, сладостно прижимаешь. Мне нелегко удержать тебя, в тебе ведь пятьдесят килограммов веса. Вот я тебя и уронил. Хорошо, что на кровать, а если бы на пол?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.